

с полным правом может восхищаться изображением каторги, улиц и площадей Петербурга и произвола самодержавного строя, а мистик с не меньшим правом может увлекаться общением с Алёшей, с князем Мышкиным и Иваном Карамазовым, которого посещает чёрт. Утописты всех оттенков могут находить свою радость в снах «смешного человека», Версилова или Ставрогина, а религиозные люди — укреплять свой дух той борьбой за Бога, которую ведут в этих романах святые и грешники. Здоровье и сила, радикальный пессимизм и пламенная вера в искупление, жажда жизни и жажда смерти — всё это борется здесь в никогда не разрешающейся борьбе. Насилие и доброта, гордое высокомерие и жертвенное смирение — вся необозримая полнота жизни в выпуклой форме воплощена в каждой частице его творений. При самой критической добросовестности каждый может по-своему истолковать последнее слово автора”.

То, что Каус предполагает как некую теоретическую возможность, давно уже свершилось в XIX веке и продолжает свершаться сейчас.

Так, “старомодный реалист” Писарев просто и понятно объяснил преступление Раскольникова социальными причинами: студент беден, голоден, болен, ну и решил взяться за топор. Что до Кеплера и Ньютона, то совершенно понятно, что это бред больного, ибо те никого не убивали... Правда, Писарев, то ли по глухоте, то ли по надменности, полностью отбросил всю проблематику Достоевского, но ведь и подобная мотивировка тоже присутствует в романе.

Вересаев безбожие Ставрогина и Шатова приписал автору.

Мережковский столкнул “ясновидца духа” Достоевского и “ясновидца плоти” Толстого. У него тоже всё выстроилось весьма логично.

Но каждый из этих и многих иных мыслителей принимал услышанный им голос за голос автора, разрушая сложнейшую полифоническую палитру художника. Потому в шестидесятые годы Бахтин показался мне единственным поводырём по лабиринтам достоевской мысли.

Однако об этих годах я должен сделать небольшое лирическое отступление.

Последний год своей жизни Бахтин тяжело болел. За ним ухаживала группа студентов-филологов. Среди них была моя ученица. Однажды она позвонила мне:

— В субботу мы с вами идём к Михаилу Михайловичу. Я договорилась. Он будет рад.

— На какую ж тему, ты полагаешь, я осмелюсь открыть перед ним рот?

— А вам и не нужно. Он сам это очень хорошо делает. Потом вы ему понравитесь. Вы, по его категории, карнавальная личность.

В назначенную субботу она позвонила.

— Михаил Михайлович умер. Приходите на панихиду...

Диалог не состоялся. На самом-то деле я хотел решиться и сказать мастеру примерно следующее. «Проблемы поэтики» — удивительная книга и подлинное открытие. Но мне кажется, что произошёл парадокс: о полифонизме, о диалогизме, об игре двойных зеркал, удвоении и взаимном отражении разных сознаний написано как-то слишком монологично и однозначно. Не требовала ли сама форма такого исследования диалогического общения с автором и неоднозначного вывода? Может быть, исследование должно было завершиться второй частью, которая бы отрицала первую? Показывала, что при всём умении проникать в чужую психику, при всём умении рисовать мир равноправных борющихся сознаний, не заключая их в жёсткие рамки авторского сознания, Достоевский один из самых субъективных, самых пристрастных художников? Что сама небывалая независимость героя от авторской оценки рождена вовсе не неким невиданным доселе даром надмирной объективности, а, напротив, именно тем, что к своему герою автор пристрастен, всей своей полнотой входит в его сознание, волнуется его мыслями (“Я потому и горячусь, что хочу убедиться сам”)?

Недоумение вызывает также предложенное Бахтиным высказывание Чернышевского о замысле такого романа, где не будет субъективных авторских оценок. Слова эти Бахтин приводит в доказательство того, что новая форма романа уже как бы вызревала в русской литературе. Герои его, утверждает Чернышевский, говорят и думают, что хотят. Автору до этого нет дела. Его холодность, “как холодность льда”.

Роман этот, разумеется, не был написан. Во-первых, потому, что такого романа быть не может. Уже отбирая факты, одаря героев репликами, автор субъективен, ибо другой художник нашёл бы иные слова и иные ситуации. Реалист — только Господь Бог, — говорит А. Камю.

Во-вторых, к такой задаче менее всего способен именно Чернышевский, автор всегда пристрастный. “Озлобленный семинарист”, как называл его Георгий Флоровский.

Ум Чернышевского рационалистический и земной. Неслучайно именно он не принял “неэвклидову геометрию”, назвав её “детской шалостью”, тогда как мысль Достоевского рвалась всегда за пределы эвклидова пространства. Душа его была “жилица двух миров”, она так тревожно билась “на пороге двойного бытия”. Ведая иные миры и иные измерения, она не могла примириться с земной логикой, с земными тупиками мысли.